— Едет! — закричал в это время махальный.



Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым, решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

— Смир-р-р-на! — закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

По широкой, обсаженной деревьями, большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих 2000 людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк звеня дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-го-ство!» И опять всё замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался; потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, — видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с бòльшим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. И всё было исправно, кроме обуви.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек 20 свиты.

Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поровнявшись с 3-ю ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы; и потому Кутузов, видимо поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измайловский товарищ, — сказал он. — Храбрый офицер! Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

— Мы все не без слабостей, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — У него была приверженность к Бахусу.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержать смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел: в ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

— Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

— Где тут Долохов? — спросил Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

— Претензия? — нахмурившись слегка, спросил Кутузов.

— Это Долохов, — сказал князь Андрей.

—А! — сказал Кутузов. — Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, — сказал он своим звучным, твердым, неспешащим голосом. — Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что всё, чтò ему сказал Долохов, и всё, чтò он мог сказать ему, он давно, давно знает, что всё это уже прискучило ему и что всё это совсем не то, чтò нужно. Он отвернулся и направился к коляске.

Полк разобрался ротами и направился к назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, одеться и отдохнуть после трудных переходов.

— Вы на меня не претендуете, Прохор Игнатьич? — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира выражало после счастливо-отбытого смотра неудержимую радость. — Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... Сам извинюсь первый, вы меня знаете... Очень благодарил! — И он протянул руку ротному.

— Помилуйте, генерал, да смею ли я! — отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

— Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я всё хотел спросить, чтò он, как себя ведет? И всё...

— По службе очень исправен, ваше превосходительство... но характер... — сказал Тимохин.

— А чтò, что характер? — спросил полковой командир.

— Находит, ваше превосходительство, днями, — говорил капитан, — то и умен, и учен, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...

— Ну да, ну да, — сказал полковой командир, — всё надо пожалеть молодого человека в несчастии. Ведь большие связи... Так вы того...

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

— Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

— До первого дела — эполеты, — сказал он ему.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо-улыбающегося рта.

— Ну, вот и хорошо, — продолжал полковой командир. — Людям по чарке водки от меня, — прибавил он, чтобы солдаты слышали. — Благодарю всех! Слава Богу! — И он, обогнав роту, подъехал к другой.

— Чтò ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно, — сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

— Одно слово, червонный!... (полкового командира прозвали червонным королем) — смеясь, сказал субалтерн-офицер.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не... брат, глазастее тебя. Сапоги и подвертки — всё оглядел...

— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну! думаю...

— А другой-то австрияк, с ним был, словно мелом вымазан. Как мука, белый. Я чай, как амуницию чистят!

— Чтò, Федешоу!... сказывал он, что ли, когда стражения начнутся? ты ближе стоял? Говорили всё, в Брунове сам Бунапарте стоит.

— Бунапарте стоит! ишь врет, дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарте стоит! То-то и видно, что дурак. Ты слушай больше.

— Вишь черти квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

— Дай сухарика-то, чорт.

— А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, Бог с тобой.

— Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.

— То-то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай: важно!

— А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там всё как будто поляк был, всё русской короны; а нынче, брат, сплошной немец пошел.

— Песенники вперед! — послышался крик капитана.

И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам, и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко занималося...» и кончавшуюся словами: «То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменскиим отцом» вставляли слова: «Кутузовым отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-тo на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую, драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

Ах, вы сени мои, сени!

«Сени новые мои...», подхватили двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали итти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат, Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему:

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, ровняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Я как? — отвечал холодно Долохов, — как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которою говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали.

«Выпускала соколà да из правова рукава», говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

— Чтò правда, австрийцев побили? — спросил Долохов.

— А чорт их знает, говорят.

— Я рад, — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

— Чтò ж, приходи к нам когда вечерком, фараон заложишь, — сказал Жерков.

— Или у вас денег много завелось?

— Приходи.

— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

— Да чтò ж, до первого дела...

— Там видно будет.

Опять они помолчали.

— Ты заходи, коли чтò нужно, все в штабе помогут... — сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне чтò нужно, я просить не стану, сам возьму.

— Да чтò ж, я так...

— Ну, и я так.

— Прощай.

— Будь здоров...

... И высоко, и далеко,

На родиму сторону...

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.

Источник: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/vojna-i-mir/vojna-i-mir-1-2-2.htm